



«...ЧТОБ ЖИЗНЬ ДОБРОМ БЫЛА»

Ованес Шираз отказывался давать интервью. Не то что прямо отказывался, а как-то отнекивался, придумывал причины. Он почему-то не любил слово «интервью». Однажды я ему сказал, что в «Литературной газете» запланирована наша беседа. Он тотчас же ответил: «Беседа — это хорошо. А то я не люблю, когда «вопросы-ответы». Потому что, когда «вопросы-ответы», то люди прежде читают вопросы. А так как умных вопросов, уверен, никто не задает, то, соответственно, не встретишь и умных ответов». Расхрабрившись, я обещал, что непременно задам ему хотя бы один умный вопрос. Он недоверчиво посмотрел на меня уже немного подслеповатыми глазами, поправил непослушную копну серебристых волос, ниспадающих на широкий лоб, и вымолвил: «Я — весь внимание». «Дорогой Шираз, — громко и подчеркнуто торжественно начал я, — как по-вашему, кого сегодня в Армении можно назвать вторым поэтом, или, скажем иначе, поэтом номер два?»

Шираз расхохотался. Беседе был задан нужный тон, и тем самым я получил «добро» на ее официальное, что ли, продолжение. Он лишь предупредил: «Делай так, как принято у нас. Обращаешься только на «ты» и называешь меня только Ширазом». Встречались мы много раз. Нередко в издательстве «Советакан грох». Заранее договаривались о встрече. Дело в том, что в последние годы Шираз практически другого маршрута и не знал: дом — издательство. С трудом передвигался. И, как он однажды сказал, не очень хотелось продемонстрировать невесть откуда взявшуюся немощь. Чаще всего во время беседы говорили о проблеме перевода. Вообще-то для Шираза, можно сказать, не было такой проблемы, ибо, по его убеждению, поэзия непереводаима. Он говорил:

— Высокая поэзия непереводаима.

— А Шекспир? Ведь он переведен чуть ли не на все языки мира.

— Переведена драматургия Шекспира. Не случайно на протяжении веков везде и всюду пытаются делать новые и новые переводы Шекспира. И этому не будет конца.

— Где-то я читал, что очень щедро и очень удачно переведен Омар Хайям, — сказал я.

— Переведена мудрость Хайяма. Это значит: зарифмовали на другом языке философию поэта. Вот философию, пожалуй, можно переводить. Это, как говорится, уже дело техники. Даже — науки.

— Десятки национальных поэтов стали популярными, а некоторые очень даже знаменитыми благодаря переводам.

— Астрономы считают Большую Медведицу «незаслуженно популярным созвездием». Особого интереса не представляет среди своих сородичей, а вот «переведена» на все языки и тем популярна. Я полагаю, что эту самую популярность и знаменитость иные поэты должны на равных делить с переводчиками.

— Много лет назад в издательстве «Художественная литература» вышел твой однотомник, который сразу же, как принято говорить, стал библиографической редкостью. Книга принесла тебе союзную славу. По твоей формуле выходит, что славу эту должны были с тобой разделить и твои переводчики. А их в той книге было, если мне не изменяет память, несколько десятков.

— Пожалуй, в каждом отдельном случае, если перевод был удачный, надо отдать дань переводчику. Есть у меня стихотворение «Ответ соловья». В нем всего в нескольких словах рассказывается, как упрекают соловья в том, что он равнодушен к нападкам, насмешкам ворона. Соловей отвечает, что он поет свою звонкую песню, сам не замечая, как это у него получается. И заканчивает мысль тем, что завистников можно убить одним лишь пренебрежением. Кажется, такого же правила придерживался Уильям Сароян, ссылаясь на чеховский принцип: «Не отвечать на наветы и клевету». Так вот, переводчик концовку сделал по-русски так, что получилось словно пословица, словно мудрость народная. «А для завистников, поверьте, пренебрежете — хуже смерти». Мысль — моя, но вот на русском языке воплощена в стихотворной форме другим человеком и даже несколько по-другому. Лучше или хуже — это уже другой вопрос.

— Так как же быть? Вообще не переводить?

— Переводить. Но помните, что в любом случае об истинной цене поэта может судить только народ, на языке которого пишет творец. Я, например, вряд ли найду у себя самого такое

стихотворение, которое можно было бы, так сказать, спокойно переводить без необходимости давать читателю дополнительную информацию.

— И все-таки есть ли хотя бы один перевод, вернее, одно стихотворение, переведенное на другой язык, чтобы было оно тебе по душе? Ведь переводили тебя на протяжении четырех с лишним десятилетий видные поэты.

— Дело в том, что чуть ли не в каждом стихотворении тот или иной переводчик позволяет себе не просто «по-своему» интерпретировать мой стих, но и даже добавлять что-то, изменять, сокращать. А это уже я считаю криминалом. Ты помнишь мое стихотворение «Армянские имена»?

— Помню. Ты не без иронии и сарказма в нем коришь тех, кто, кивая на моду, называет своих детей, мягко говоря, странными именами.

— Когда я прочитал перевод этих стихов, то поразился. Переводчик не только придумал имена, которых у меня не было, но и добавил от себя мысли, которых у меня просто не могло быть: «Что за безвкусица. Позор! Каков семейный кругозор?» Действительно «позор». Разве можно так в лоб, по-газетному? Причем, повторяю, от себя.

Шираз обладал могучей памятью. Он мог часами читать свои стихи. Редко когда спотыкался, забывал какую-нибудь строфу, какую-нибудь строку. Я его спрашивал, знает ли он так же много стихов других поэтов? Он ответил не задумываясь: «Нет. При желании, конечно, смог бы выучить наизусть сотни стихов, память позволяла, как, скажем, учил Маяковский всего «Евгения Онегина», но мне такое, так сказать, занятие помешало бы. Вот читал, пожалуй, много и многое. От Гомера до наших дней. Но заучивать наизусть — нет. Только хорошо помню армянских классиков, и то потому, что учил их с детства и теперь уже забыть не смогу.

Ссорился, как мальчишка. Порой по самым незначительным причинам и с самыми близкими людьми. И всякий раз, когда мирился, непременно говорил: «Если бы ты мне не был дорог, я бы тебя и не наказал!» Не разговаривать на время — он считал наказанием. В «Литературной газете» я опубликовал беседу с Уильямом Сарояном. В ней на вопрос, кого из нынешних литераторов вы знаете и цените больше всего, Сароян среди армянских писателей назвал только Ваагна Давтяна. Через некоторое время я встретился с Ширазом. По выражению лица сразу же понял: что-то произошло.

— Что случилось, Шираз?

— Я с тобой порываю всяческие отношения, но хочу, чтобы ты знал причину. Ты по отношению ко мне был неискренним. Сароян не мог назвать только имя Давтяна.

Я начал было оправдываться, но усилия оказались тщетными. Шираз со мной поссорился. Лишь через год после этого, а еще точнее, после того, как я опубликовал книгу-репортаж «Между двух огней», Шираз позвонил мне и как ни в чем не бывало сказал:

— Я прочитал твою книжку и подумал: почему это ты меня забыл?

— Я боюсь тебя.

— Меня боится только Академия наук республики. Она меня дважды не принимала своим членом, не задумываясь над тем, что когда-нибудь ей будет мучительно стыдно за это.

В академики не избрали в свое время и Севака, и некоторых других видных литераторов, ставших поистине народными писателями и поэтами. Но никто, наверное, так не переживал, как Шираз. Он все время повторял: «Это нужно не мне. Это нужно нашей Академии». При этом повторял слова академика Амбарцумяна: «Шираз говорит от имени нашего сердца... он насколько национален, настолько же общечеловечен».

О Ширазе критика писала при жизни так много, что подчас сам он не успевал читать. Нередко лишь подшучивал над авторами иных панегириков о себе. Я спросил его:

— Все ли тебе самому понятно из того, что пишут о тебе?

— Когда хвалят — все. Но скажу честно: слишком умные люди эти критики. Когда мне приносят читать очередную статью о себе, я прежде всего начинаю искать соответствующие словари иностранных слов.

Я прочитал вслух абзац из только что вышедшей в свет статьи: «Шираз отдает предпочтение метафоре, тропу, сравнению, ассоциации. Поэт часто обращается к приему повтора, антитезы и градации. Эвфония стиха нередко организуется с помощью анафоры, эпифоры и внутренней рифмы». Шираз слушал меня с какой-то лукавой улыбкой. Потом громко засмеялся и сказал:

— А что я говорил? Я же тебе говорил, что я гений, ты не верил. Видишь, как я мудрено пишу? Кстати, что такое анафора и эпифора? Ты никому не говори, но я, честно, всегда путался в этих терминах.

— Никому не скажу. Но напечатаю, чтобы об этом знали миллионы.

— Так можно. Лучше сказать в открытую миллионам, нежели кому-либо, шушукаясь, на ухо. И еще напечатай, что Шираз говорил: поэзия — это прежде всего простота, даже если речь идет о глубоко философском произведении. И писать надо просто. Ведь когда молодой человек признается в любви к девушке, на которой хочет жениться, он же не говорит ей, мол, я хочу, чтобы вы были матерью моих будущих детей. Он просто, по-человечески, говорит: я люблю тебя.

— Видит Бог, о детях ты заговорил первым. Так что давай продолжим тему. У тебя восемь детей. Семеро из них совсем еще крохотные.

— Чтобы я взял их боль себе...

— По сегодняшним меркам, такое количество детей считается чуть ли не подвигом. Многие хотели бы иметь уйму детей, но боятся, страшатся. Иногда одного трудно бывает поставить на ноги.

— Одного трудно. Это — верно. И в материальном, и в духовном отношении одного труднее, чем двоих или троих.

— У тебя восемь.

— Ну, старший, Ара, сам уже давно отец. А вот остальные семь — малыши. Что могу сказать? Не поменял бы все, что я написал до сих пор, на один волос любого из моих детей. Вряд ли кто знает, что лет двадцать назад я уже готовился встретить смерть. К врачам не ходил. Сам я по боли в груди, по шуму в ушах чувствовал, что долго не протяну. Но вот с рождением каждого ребенка я словно сам заново рождался на свет. Когда уже родился седьмой, помню, я посмотрел в зеркало на себя — в то утро мне особенно было плохо — и заставил себя победить боль. Я внушал, что ее нет у меня. Я даже Бога просил, так сказать, не сделать глупости. Ведь во мне прибавилось ответственности. Говорят же, есть такое чувство, правда, к сожалению, оно не у всех бывает. И ты знаешь, я ожил. В ту весну, помню, я шел мимо издательства «Советакан грох» и обратил внимание, как пышно цветут выстроившиеся в ряд абрикосовые деревья. Я подумал даже, что они слишком какие-то стройные. Абрикосовые выглядят иначе, они приземистее, ветвистее. Мне почему-то подумалось, что они, эти деревья, никогда не плодоносят. Большую часть дня там падает тень. Справился у работников издательства, мол, помнит ли кто-нибудь, чтобы деревья эти плодоносили? Никто не мог ничего вразумительного сказать. В то лето не было плодов. Не было плодов и после очередного цветения. И вот уже сколько лет я наблюдаю —

плодов нет. С одной стороны, радуюсь, что мои ожидания оправдались, с другой — обидно за деревья. Нельзя им без солнца. Наверное, не случайно дети прежде всего и чаще всего рисуют солнце. Наверное, не случайно и слово «свобода» нередко произносится не иначе как со словом «солнце».

За всю жизнь свою Шираз не сорвал ни одного цветка, ни одной травинки. Это был не фанатизм. Скорее здесь сказывалась принципиальность его. Честность перед собой. Он писал: «Тот, кто за родину умер в бою, ярким цветком стал в родимом краю. Вот почему я молчать не могу, если срывают цветы на лугу». Это я взял из одного стихотворения. Из другого: «Цветок, в тебе печали след, головку ты склонил; Ты горе, выходя на свет, в земле не схоронил?» Из третьего: «Я от грубости людской болею, как цветок». Он часами мог наблюдать за движением муравьев по стволу дерева. При этом поглядывая под ноги, чтобы вдруг случайно не раздавить тех, которые упали на землю. Природу считал своим богом. Говорил не раз, что она — самый великий литератор. Я ему однажды рассказал о жизни морских котиков, которых наблюдал на Командорских островах. После этого он несколько раз в разное время просил, чтобы я рассказал о секачах вновь и вновь. И я рассказывал в который уже раз. Секач — взрослый самец морского котика — на лето выходит на берег, устраиваясь на «своей» площадке. На этой территории располагается и гарем секача. Он хозяин. Но, как говорится, за все надо платить. Особенно за счастье. На протяжении нескольких месяцев секач не имеет права выходить из гарема, то бишь покинуть площадку, а еще точнее, дом, родину. Хотя бы на минуту, хотя бы на долю секунды. Он задыхается от жары и жажды, жадно поглядывая на белый прибой, с шумом бьющийся о прибрежные скалы. Чуть ли не со слезами в глазах смотрит на язычок шальной волны, который, как мираж, подбирается к лапам секача. И лишь усилием воли, заложенной природой, он терпит. Но стоит только на один миг поддаться слабости, хотя бы на мгновение окунуть разгоряченное тело свое в холодную живительную воду, как, по велению все тех же законов природы, на него набрасываются сородичи и избивают до смерти. Причем каждый котик считает своим долгом хоть раз нанести хлесткий удар могучим хвостом. Иногда бьют даже мертвого. И все это только за то, что на миг оставил дом тот, кто не должен был этого делать. Тот, на кого надеялись. Ибо, если секач оставил дом, то другой смело может захватить себе эту площадку. Дождавшись окончания рассказа,

Шираз каждый раз говорил одно и то же: «Это жестоко, но так справедливо. Вот бы и нам так наказывать каждого, кто оставляет свой дом...»

— В поэме «Библейское» ты отрицаешь миф о сотворении мира Богом, возводя в творца человека. И все-таки кто твой Бог кроме природы?

— Нарекаци. Я молюсь на него потому, что он — сама честность. Он не скрывает перед людьми, что сам грешен. «И если кедр ливанский в три обхвата свалю я, сделав рычагом весов, — на чаше их и тяжесть Аарата не перетянет всех моих грехов». Так может писать воистину только безгрешный человек. И еще скажу: когда читаю Нарекаци, то хочется рвать и сжигать свои стихи. Или — писать их заново. И тогда уже хочется вместо слова «логика» писать «истина», вместо «этики» — «добро», вместо «эстетики» — «красота». Читая Нарекаци, я подумал о том, что жизнь вечна, смерть — мгновенна. Много лет орел парит в небесах. Но вот нагрянет смерть — и трех секунд достаточно, чтобы упасть с небес на землю. Значит, надо парить всегда. Днем и ночью. И все годы творить лишь добро. А оставшихся трех секунд хватит, чтобы завещать сыну творить добро. Чтобы сказать ему: «И сделай так, чтоб жизнь добром была, — мы смертны все, бессмертны лишь дела».

В последние два года жизни Шираз, несмотря на «невесть откуда окутавшую немощь» и все нарастающую слепоту, очень часто встречался с читателями на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. И непременно брал с собой своих малышей. Иногда удавалось брать всех восьмерых. Лейтмотив каждого творческого вечера был мир, точнее — борьба за мир. Читал с большей страстностью, чем раньше: «Ни одна война не могла собрать столько армий от края до края, как, собравший несметную эту рать, голубь мира — птица простая». «Першингам» и крылатым ракетам поэт противопоставлял дружбу между народами: «Пусть кожа оттенка и цвета любого, мы — радуги свет после дня грозового. Теснее, чем в радуге красок слиянье, сердце наших слито навеки сиянье. Никто не нарушит людей единенье, ведь радуга мира — народов сплоченье». Непреходящим предметом воспевания для Шираза была Россия, в которой он видел надежду мира и счастья для своих детей.

При жизни поэт стал легендой. О нем слагали песни, писали монографии, по его творчеству защищали диссертации. А он не удивлялся всему этому. И не только потому, что в пору его еще безусой юности знаменитый Ширванзаде пророчески писал:

«Обратите внимание на этого поэта... У него большое будущее». И не только потому, что один из самых больших армянских лириков всех времен Аветик Исаакян считал Шираза «самым большим армянским лириком послеоктябрьского периода», и не только потому, что незабвенный Николай Тихонов писал: «Поэзию одного из самых талантливых поэтов не только Армении, но и Советского Союза Ованеса Шираза можно сравнить с бушующим пламенем». Поэт сам слишком хорошо знал себя и писал о себе: «Я — поэт. Я вечностью рожден».

Прочитав в «Литературной газете» очерк о подвиге Шаварша Карапетяна, спасшего двадцать человеческих жизней из затонувшего в городском водохранилище троллейбуса, Шираз позвонил и попросил познакомить его с героем. Я сказал, что через несколько дней Шаваршу исполняется тридцать лет и мы можем вместе поехать к нему домой, поздравить. «Я же не хожу ни к кому домой, — сказал он и тотчас же добавил: — Хорошо, поедем». К Шаваршу Шираз поехал со своим маленьким сыном. Я видел, как Шираз еле передвигался. Болезнь неумолимо подтачивала его. Недолго он посидел за праздничным столом. Понимал, что все равно, как ни было тяжело, ему надо прочитать хоть что-нибудь в честь Шаварша. И когда пришло время ему сказать слово, он сначала тихо вымолвил: «Такого дня, может, наш народ ждал тысячелетия кряду. Но для такого дня нужен мир». Потом вдруг преобразился и начал читать громким голосом:

Я, готовый плакать в три ручья
Из-за чьей-нибудь одной слезинки,
Я, не раздавивший муравья,
Я, на смерть восставший в поединке
Ради жизни, счастья и труда, —
Я кричу, как ласточка, кричу я,
Что тревожно вьется у гнезда,
Коршуна кружащего почуя...
Призываю: в сердце меч врагу!
Жизнь восславьте, зло сведя в могилу,
Смерть в уста поцеловать могу,
Но простить врагу — превыше силы!